



Лев Толстой
—
Кавказский пленник
Хаджи-Мурат



Москва
2022

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)1я44
Т53

В оформлении титула использована иллюстрация
В. А. Полякова

Толстой, Лев Николаевич.
Т53 Кавказский пленник; Хаджи-Мурат / Лев Толстой. — Москва : Эксмо, 2022. — 320 с. — (Яркие страницы).

ISBN 978-5-04-154182-8

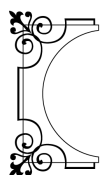
Молодой Лев Толстой оказался на Кавказе случайно, но все опасности военной кавказской жизни испытал на себе. Так Кавказский период стал для писателя одним из главных в жизни. Здесь он, впервые участвуя в набеге на горцев, получил свой первый военный опыт и впервые увидел насколько хрупка жизнь человека и несправедлива война, что, безусловно, отразилось в размышлениях о войне в «Войне и мире». Именно на Кавказе Лев Толстой написал свой первый рассказ «Набег» и сразу заявил о себе как о писателе с большим будущим. Тогда же узнал об истории Хаджи-Мурата, но повесть об этом герое дописал только в 1900-х годах, однако публиковать не разрешил.

В данной книге повесть «Хаджи-Мурат» представлена с предисловием и комментариями Л. Чуковской.

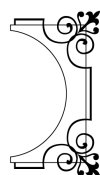
УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)1я44

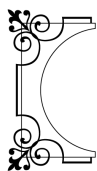
ISBN 978-5-04-154182-8

© Чуковский Д. Д., предисловие, комментарии, 2022
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2022



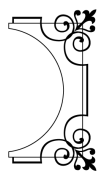
ПОВЕСТЬ





«Хаджи-Мурат» Льва Толстого

Вступление



РАССКАЗ НА ПРОГУЛКЕ

В 1859 году в одном из флигелей яснополянского дома Толстой устроил школу для крестьянских ребят. Редкостная дружба связывала учеников и учителя. Зимой они вместе катались на санях и на коньках, играли в снежки; летом вместе барахтались в пруде, вместе ходили в лес за грибами.

«Мы так сблизились с Львом Николаевичем, как вар с дратвой, — вспоминал впоследствии один из учеников яснополянской школы. — Мы были неотлучны от Льва Николаевича, и нас разделяла одна только ночь».

Зимними вечерами Толстой сам разводил учеников по домам и по дороге рассказывал им увлекательные и страшные истории. На одной из таких прогулок он рассказал школьникам историю знаменитого кавказского горца — Хаджи-Мурата.

...«Только что я умолкал, Федька уже требовал, чтобы я говорил еще и таким умоляющим и взволнованным голосом, что нельзя было не исполнить его желания... Я кончил рассказ тем, что окруженный абрек запел песню и потом сам бросился на кинжал. Все молчали. «Зачем же он песню запел, когда его окружили?» — спросил Семка. «Ведь тебе сказывали — умирать собрался!» — отвечал огорченно Федька. «Я думаю, это молитву он запел!» — прибавил Пронька».

В повести о Хаджи-Мурате, написанной Толстым через несколько десятилетий после этой вечерней прогулки, никто из окруженных горцев не бросается сам на кинжал; но один из верных мюридов Хаджи-Мурата поет во время смертельного боя, и поет молитву. «Курбан сидел с края канавы и пел: «Ля иллях иль Алла» / «Нет бога кроме бога».

Рассказанная в 1861 году детям яснополянской школы история гибели Хаджи-Мурата — это первый, не дошедший до нас, вариант будущей повести, это — ее зерно, ее давний прапредок. О самом Хаджи-Мурате Толстой упоминает еще раньше, в пору службы своей на Кавказе, в 1851 году, в письме к брату Сергею: «Ежели захочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на днях передался русскому правительству».

Бурная жизнь Хаджи-Мурата, полная побед, поражений, измен, полная страстной борьбы и окончившаяся трагической гибелью, сильно поразила воображение Толстого. В 1896 году — через 45 лет после письма к брату о переходе Хаджи-Мурата к русским — Толстой снова вспомнил знаменитого горца. «Вчера иду по передвоенному черноземному пару, — записано у него в дневнике 19 июля 1896 года. — Пока глаз окинет, ничего кроме черной земли, ни одной зеленой травки; и вот на краю пыльной серой дороги куст татарника (репья). Три отростка: один сломан, и белый, загрязненный цветок висит; другой сломан и забрызган грязью черной, стебель надломлен и загрязнен; третий отросток торчит в бок, тоже черный от пыли, но все еще жив и в середине краснеется. Напомнил Хаджи-Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля, хоть как-нибудь, да отстоял ее». Из этой записи видно, что задуман был «Хаджи-Мурат» как повесть о стойком сопротивлении, как повесть о человеке, не подчиняющемся обстоятельствам, стремящемся их одолеть, хотя бы и ценою жизни.

«Хочется написать». И Толстой принялся за работу. Он писал повесть о Хаджи-Мурате в общей сложности около

восьми лет — с 1896 по 1904 год, — надолго отрываясь от нее для писания тех вещей, которые он считал более важными, откладывая ее иногда на многие месяцы, но неизбежно возвращаясь к ней снова. Он писал ее в те годы, когда под влиянием своих религиозных идей почти отказался от художественного творчества, считая его «пустым», «ничтожным» занятием, как бы «потихоньку от себя», — но, перечеркнув написанное, начинал сызнова и произвел для своей небольшой повести целое историческое исследование, используя для нее большой документальный материал.

«ПОДРОБНОСТИ ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ»

«Когда я пишу историческое, — говорил Толстой, — я люблю быть до мельчайших подробностей верным действительности».

Известно, какое огромное количество документального материала, печатного и рукописного, изучил Толстой, работая над «Войной и миром». Тут были и письма современников, и воспоминания участников боев, и исследования специалистов-военных. Велика была также подготовительная работа к «Хаджи-Мурату». Толстой изучал жизнь, сказания, предания народов Кавказа; их оружие, их одежду, их пищу; их обычаи и верования, их религиозные обряды. Друг Толстого, замечательный критик и искусствовед, Владимир Васильевич Стасов, служивший в те годы в Публичной библиотеке в Петербурге, посылал ему целые ящики книг о Кавказе и о Шамиле. Толстой читал записки современников и очевидцев, помещенные в исторических журналах, доклады военному министру Чернышеву кавказского наместника Воронцова, доклады Чернышева царю, «записку, составленную из рассказов и показаний Хаджи-Мурата», воспоминания русских офицеров, служивших на Кавказе, и воспоминания о Николае участников декабрьского восстания. Не довольствуясь материалами, опубликованными в печати, он добывал

материалы из государственных архивов, из Петербургского и Тифлисского, — и письменно опрашивал старых людей, которые в девяностых годах еще помнили события пятидесятых и видели живого Хаджи-Мурата. Он обратился с письмом к вдове нухинского начальника Карганова, у которого жил Хаджи-Мурат накануне бегства. По этому письму можно судить, как сильно занимала Толстого «действительность в ее мельчайших подробностях».

«Чи были лошади, на которых он хотел бежать, — спрашивает Толстой старушку Карганову, — его собственные или данные ему? Хорошие ли это были лошади и какой масти? Заметно ли он хромал?»

Бывшую фрейлину императорского двора, А. А. Толстую, Толстой просит сообщить ему «именно подробности, именно обыденной жизни». Он тратит много усилий, чтобы разузнать, носил ли Николай I в пятидесятых годах плюмажи или «они оставались у генералов, а государь уже не носил их». Один из друзей Толстого, навещавший его во время тяжелой болезни, рассказывает, что Лев Николаевич даже в жару был сильно озабочен тем, правильно ли именуется он в повести кавказского наместника Воронцова, имел ли Воронцов в ту пору титул князя или он оставался графом?

Огромная подготовительная работа не пропала для художника даром. Повествование, развивающееся с такой естественностью, живостью и простотой, как будто оно было в один вечер рассказано на прогулке детям, на самом деле выверено и точно в каждом слове. Идет ли речь о том, из какой табакерки нюхал табак Воронцов, или о том, какого цвета шуба была на Шамиле, или о партии виста в гостиной, или о соловьиных трелях в Нухе — чуть ли не каждая мелочь, даже соловьиная трель, может быть подтверждена документом.

Исследователи творчества Толстого давно уже с неоспоримой наглядностью продемонстрировали документальную основу повести, сопоставив страницы из «Хаджи-Мурата»

со страницами тех документов, которые были использованы Толстым¹.

Так, например, ознакомившись с воспоминаниями офицера Полторацкого, служившего в пятидесятых годах на Кавказе, Толстой сделал мемуариста одним из героев своей повести, заимствовал из его рассказа многие детали, а несколько страниц из его воспоминаний прямо включил в свой текст. В «Воспоминаниях» Полторацкого есть описание обеда, данного князем Барятинским в честь уезжающего генерала Козловского. Козловский, запинаясь и прибавляя к каждому слову словцо «как», произносит прощальную речь; «Господа офицеры, как, дорогого сердцу моему, как, Куринского полка! — передает эту речь участник обеда Полторацкий. — От всего сердца приношу вам, как, мою искреннюю задушевную признательность!» — Слезы душили его. Не в силах подавить волнение, Козловский зарыдал и порывисто бросился обнимать офицеров, всех — от первого до последнего».

«...Княгиня закрыла лицо платком: она плакала. Даже князь Семен Михайлович, как-то странно скривив рот, заморгал глазами».

Весь этот отрывок из воспоминаний Полторацкого, весь, целиком, с речью генерала и со всеми подробностями обстановки, со слезами княгини и искривленным ртом Семена Михайловича Воронцова, вошел в XXI главу повести Толстого с незначительными пропусками и почти без перемен (см. с. 142).

Таких примеров текстуальных совпадений страниц повести со страницами воспоминаний очевидцев и официальных бумаг исследователи приводят немало. Хаджи-Мурат в Тифлисском театре; Хаджи-Мурат, беседующий с Лорис-Меликовым; обстоятельства гибели Хаджи-Мурата — все это написано Толстым на основе газетных сообщений, официальных

¹ См.: Л. Мышковская. Л. Толстой. Работа и стиль. — М., 1939. Статья «Создание «Хаджи-Мурата».

бумаг или воспоминаний очевидцев. Но, разумеется, Толстой не ограничил свою роль ролью бесстрастного компилятора. Широко используя документальный материал, Толстой превращает точные, но порой бледные и вялые записи современников в напряженный, взволнованный и волнующий художественный текст.

Используя тот или другой документ, Толстой в то же время постоянно отступает от него, властно подчиняя чужой материал своему художественному замыслу, драматизируя материал, обогащая его новыми подробностями, которые он не мог найти ни в каких источниках, кроме собственной памяти или собственного воображения. Ведь два года — с 1851-го по 1853-й — Толстой сам прожил на Кавказе. Это были годы ожесточенной борьбы горцев с царскими войсками. Толстой сам был участником кавказских событий, отлично знал обстановку борьбы в горах и природу Кавказа. Знал не понаслышке, не из книг, а на опыте. И вот они-то, эти взятые им «у себя самого» подробности, составляют силу и жизнь повести.

«С обнаженной головой, без шапки, — рассказывает один из биографов Хаджи-Мурата, чья работа была в руках у Толстого, — Хаджи-Мурат, как тигр, выскочил из своей засады и с шашкой в руке один врзался в густые толпы милиционеров. Он был изрублен на месте».

«Он совсем вышел из канавы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам, — рассказывает о той же минуте Толстой. — Раздалось несколько выстрелов. Он зашатался и упал. Несколько человек милиционеров с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова, потом туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбежавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался». Когда читаешь этот отрывок из повести, во многом совпа-

дающий со страницами использованного Толстым материала, но обогащенный конкретными подробностями боя («пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам», «поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова»), кажется, что Толстой, словно живой водой sprysнул чужие бесцветные сухие записи, сделав их драматичными, насытив собственными деталями. Детали, введенные им, продиктованы пронзительной остротой художественного зрения, и, когда читаешь страницы Толстого, рядом с чужими страницами, взятыми им за основу, начинает казаться, будто именно он, Толстой, а не свидетели, чьими записями он пользовался, был очевидцем гибели Хаджи-Мурата... Животворящие подробности, приданные документальному материалу Толстым, — эти мягкие неслышные шаги Воронцова, эти тени горцев в просвете между деревьями, это шуршание солдатских сапог по сухим листьям, этот посеревший от пота белый конь, эта выдающаяся, как у детей, верхняя губа умирающего Элдара — сообщают всему происходящему несокрушимую убедительность события, совершающегося у нас на глазах.

БОРЬБА МОРАЛИСТА С ХУДОЖНИКОМ

Для того чтобы написать свою повесть, Толстой тщательно изучил быт того времени, о котором он рассказывает, и характеры тех исторических лиц, которые выведены у него в повести. И не только изучил, но и воспроизвел с такой силой и жизненностью, что и читатель почувствовал себя, вслед за Толстым, свидетелем описанных событий, хотя с той поры прошло без малого полсотни лет. Но тем не менее рядом с утверждением Толстого, что он любит быть «верным действительности», следует поставить и другие слова его, сказанные одному из друзей: «На художественные произведения берут только то, что по шерсти, а что не по шерсти — откидывают».

Что же «откинул» Толстой, работая над «Хаджи-Муратом», и можно ли считать его повесть исторически правдивой в современном значении этих слов?

Лев Толстой был убежденным противником всякой социальной борьбы. В пору работы над повестью главным делом своей жизни он почитал проповедь нравственного самоусовершенствования. Естественно поэтому, что «историческую точность» он понимал по-своему, в духе своих моралистических идей, враждебных всякой социальной борьбе. Нравственные, моральные проблемы стояли у него в те годы на первом плане; они ему, пользуясь его же выражением, были «по шерсти»; политический же и социальный смысл событий на Кавказе — тех событий, которым, в сущности, и посвящена его повесть, — оказался ему чужд, «не по шерсти», и очень характерно, что, работая над повестью, он зачеркнул несколько написанных ранее глав, где рассказывалось о причинах кавказских восстаний. Толстой выдвигает на передний план, «берет» не смысл той борьбы, которую вели на Кавказе Шамиль и его мюриды, и не роль, сыгранную в этой борьбе Хаджи-Муратом, а главным образом, душевные свойства знаменитого горца: его привязанность к семье, нежность к сыну, его обаяние, все то, что делает Хаджи-Мурата прежде всего «просто человеком», а не политическим борцом того или другого стана, человеком с детской, доброй улыбкой, к которому так легко привязываются другие добрые и любящие люди — Бутлер, Марья Дмитриевна, Элдар...

Естественно, что подобный подход к историческим событиям и личностям — подход, при котором душевные качества людей существуют как бы в отрыве от общественного смысла их деятельности, — неизбежно должен был в какой-то степени нарушить ту самую историческую истину, ту «верность действительности», к которой так стремился Толстой.

Нарушение истины сказалось прежде всего на том, как изображена Толстым фигура Шамиля.

Десятилетиями кавказские племена под руководством своих вождей — сначала Кази-Муллы, потом Гамзат-Бека — оказывали упорное сопротивление натиску царских войск: но только под руководством Шамиля искры сопротивления разгорелись в буйное пламя настоящей народной войны — войны против генералов, посланных царем на Кавказ для «истребления непокорных», и против ханов и беков, поспешивших вступить в союз с царскими генералами. В годы 1840—1845 Шамиль одержал столько блестящих побед, что принудил царскую армию ослабить на время свои нападения.

В течение 25 лет Шамиль был «имамом», т. е. религиозным и военным руководителем созданного им централизованного государства. Он объявил войну тем феодалам, которые держали сторону царизма, и освободил принадлежащих им крестьян от крепостной зависимости. Силой слова и силой оружия боролся он с «адатом» — старинными местными обычаями — и с самым распространенным и вредным из них: обычаем кровной мести. «Адат» разъединял горцев, а Шамиль стремился подчинить их единому закону, общему для всех племен. На место «адата» он поставил одно общее для всех мусульман право — шариат. Он строго наказывал за воровство, за уклонение от военной службы, за предательство. Он создал единую государственную казну и централизованную армию численностью в 60 тысяч человек.

Царские колонизаторы истребляли горцев Дагестана, их жен и детей. Они разоряли дотла и превращали в пустыни цветущие горские аулы. Борьба горцев под руководством Шамиля была ответом на эти зверства.

«Выдающиеся личные качества — воля, ум, храбрость, военные и административные способности — создали Шамилю широкую популярность, — пишет современный советский историк. — Тысячи горцев, самоотверженно боровшихся против царских колонизаторов, видели в нем своего вождя. Они верили в то, что под его руководством они не только от-

стоят свою независимость от внешнего врага, царизма, но и добьются социального освобождения...»

Однако на страницах повести Толстого мы не найдем и отдаленного намека на подобную характеристику самого Шамиля и его роли. Перед нами человек с «каменным», «неподвижным» лицом, более всего озабоченный тем, чтобы «производить впечатление величия»... Среди друзей и врагов Шамиль славился необыкновенной храбростью — однако о его воинской доблести Толстой не упоминает ни словом, но зато мельком, как бы невзначай, упоминает о том, что в «сражении... *что бывало очень редко*, он сам выстрелил из винтовки».

Содержание военной и государственной деятельности Шамиля Толстой оставил в стороне, как бы ничего не зная о ней, и в маленьком отрывке, посвященном имаму, хотя и скрытно, хотя и исподволь, но все же с достаточной ясностью подчеркнул лишь отрицательные черты Шамиля — его жестокость, его лицемерие, его самовластие, т. е. те черты, которые неприметно сближают имама с самодержавным деспотом — Николаем I. Недаром один из знакомых Толстого припоминает, что Лев Николаевич говорил о «параллелизме» между двумя «деспотами» — Николаем и Шамилем, недаром даже во внешности Николая и Шамиля Толстой находит какое-то сходство: у обоих огромная фигура, у обоих неподвижный взгляд; во время совещания о делах Шамиль на минуту умолкает, внушая окружающим, будто он «слушает голос пророка», — совсем как Николай I, прислушивающийся во время доклада к голосу «свыше»!

...Следы религиозного учения Толстого, учения, осуждавшего всякую общественную борьбу, всякую власть — куда бы она ни вела, — сказались и на его исторической повести. Сказались они в нарочитом подчеркивании, выпячивании на первый план жестокости Шамиля и в том, как умиленно описывает автор покорность солдата Авдеева, восхищаясь его нарочитым смирением. Но все это — лишь следы морального учения, не властные исказить глубокой истинности всего по-

вестования в целом. Как ни стремился Толстой морализировать — его влекли к себе натуры борющиеся, сопротивляющиеся, и он, подчеркивая их обаятельность, поддавался их обаянию и сам; как ни навязывал он своим героям поведение, соответствующее его моральным идеям, — но знание жизни брало верх, герои его ведут себя в соответствии с жизненной и — больше того — исторической правдой, а не с моральными идеями Льва Толстого.

В той самой сцене, где Толстой с такой неуклонной — хотя и скрытой — нарочитостью подчеркивает жестокость и властолюбие Шамиля, он не может умолчать о преданности народа, восторженно встречающего своего вождя, того, кто руководил борьбой с захватчиками. Скрыть чувства любви и восхищения, какие питали к Шамилю хотя бы Гамзат или родной сын Хаджи-Мурата — Юсуф, — Толстой не может. Он всячески подчеркивает мужество, доброту и привлекательность своего главного героя — в противоположность рассудительной жестокости Шамиля, — но при этом с той полной правдивостью, которой его художественный гений не мог изменить даже в угоду проповедуемой им философии, воспроизводит убожество и своекорыстие идеалов и стремлений Хаджи-Мурата. В самом деле, к чему стремится Хаджи-Мурат? К тому, чтобы любую ценой снова стать властителем Аварии; причем получит ли он Аварию из рук царских генералов или из рук Шамиля — ему безразлично. Смысл государственных преобразований имама ему непонятен; все поступки Шамиля он объясняет одною корыстью. Он весь во власти предрассудков, созданных родовым строем; во власти «адата», требующего «кровной мести» — того обычая, с которым, во имя сплочения горских племен, борется Шамиль... «Кровная месть» — одна из главных пружин деятельности Хаджи-Мурата. Почему он не присоединился в свое время к Гамзату? Из-за «крови» аварских ханов. Почему не пристал к Шамилю? Из-за «крови» Османа. Почему совершил паразитическое по храбрости похищение дженгутайской ханши? Чтобы смыть позор, нанесенный ему Ахмет-Ханом... Так

черты социальной отсталости героя возникают из-под пера Толстого даже тогда, когда он хотел бы всячески затушевать социальную природу личности, подменив ее душевными качествами.

Язык повести тоже служит воплощению исторической правды, реалистически-правдивому, жизненно-верному изображению людей, характеризующему их социальную сущность.

«Ухватистый» — как называл его Чехов — язык Толстого с необычайной правдивостью передал и веселый, простодушный говорок солдат:

— Первый командир у Шмеля был! Теперь небось! — и отрывистую, лающую речь императора:

— Хочешь в военную службу?

— Никак нет, ваше императорское величество!

— Болван! — и ворчливое брюзжание старика крестьянина, недовольного работой сына:

— Загривок-то, глянь, как у барана доброго!

Толстой, проникновенный знаток реального, зримого мира, не мог оказаться в плену отвлеченной теории; реальность, которую он постигал во всем ее богатстве и разнообразии, влекла его к себе и побеждала, и он жадно и точно «ухватывал» и «перетянутый и выступающий из-за перетяжки и сверху и снизу живот Николая», и «блестки, которые вдруг вспыхивали на меди пушек, как маленькие солнца», и безжизненные глаза старика, и сияющую улыбку красавицы... Вопреки теории смирения реальность, действительность продиктовала Толстому правду социальной борьбы.

Повесть, написанная, как он сам признавался, «потихоньку от себя», оказалась призывающей не к смирению, а к борьбе, к борьбе с главным злом того времени — самодержавным строем. В этом — ее высокая «верность действительности». И быть может, именно поэтому Толстой-моралист, Толстой — проповедник христианства так и не отдал в печать повесть Толстого-художника, так что она появилась в печати только в 1911 году, через год после смерти ее автора.

ОБЛИЧИТЕЛЬ «УЖАСНЕЙШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

«А какие эти, братец ты мой, белолобые ребята хорошие! — говорит о горцах русский солдат Авдеев, посланный царем на Кавказ воевать с горцами. — Право, совсем как российские...»

С глубоким уважением относится Толстой к простым трудящимся людям — русским ли, горцам ли — и с презрительной брезгливостью к тунеядцам из «высшего круга». Наместник царя на Кавказе, Воронцов, изображен в повести хитрым, лицемерным, бездушным, оглушенным лестью; жена его сына, княгиня Мария Васильевна, живет в военном лагере роскошной, праздной жизнью, и солдаты презирают ее за то, что она барыня, и Толстой вместе с ними; простодушный молодой человек, Бутлер, нравственно падает, загрязняется, чуть только он соприкоснулся с людьми из этого «высшего круга». Уважение Толстого к простым людям сказалось в той удивительной сочувственной точности, с какой он воспроизводит их труд — тяжелый боевой труд солдат, мерзнущих в ночном пикете или под пулями рубящих лес, и тяжелый труд крестьян, и труд горцев, восстанавливающих родной аул. Ответственным за все страдания, какие переносят простые люди, Толстой сделал самодержавный помещичий строй — и обрушил на этот строй всю мощь своего обличительного искусства.

Сюда, в характеристику Николая и его чудовищной, противоестественной власти, Толстой вложил всю свою ненависть к крепостническому царскому строю, здесь он изобразил все то, что он призывал ненавидеть. Описывая день Николая I, Толстой сохраняет присущий ему тон спокойного объективного повествования, но под этим внешним спокойствием скрывается страсть: глава посвящена разоблачению бессмысленной жестокости, тупости, злобы и всемогущества русского царя — этого «высочайшего фельдфебеля», как называл Николая I Герцен. На страницах статей и воспоминаний Герцена (чьи произведения

к концу своей жизни Толстой ставил чрезвычайно высоко) разбросано немало метких характеристик Николая — его наружности и его деспотизма; некоторые черты, подчеркнутые Толстым в «Хаджи-Мурате» — например, стремление Николая постоянно наводить ужас на окружающих, — уже прежде него подчеркнуты Герценом в «Былом и думах» (Николай любил «испугать слушателя до обморока»). Но Герцен, ненавидевший и постоянно разоблачавший Николая и его царствование, сделал из него страшный символ самовластия, «взлыстую медузу с усами» — Толстого же занимала психология прежде всего, и он заглянул внутрь, в самую глубь души российского самодержца, пытаясь постичь и сделать явственным тот сложный психологический механизм, с помощью которого этот человек, не задумываясь отдававший приказы прогнать солдат сквозь строй, поддерживавший всеми силами те мучительства, каким подвергали крестьян помещики, палач декабристов, гонитель Пушкина, Лермонтова, Герцена, человек, неумоимо ливший кровь лучших людей своей страны, умудрялся считать себя благодетелем России и всего человечества. На страшной жестокости Николая, на его неспособности видеть и понимать, что он делает, на тех противоречиях, которые владеют им и которых он не замечает, сосредотачивает внимание читателя Толстой. «В Николае поражает одна черта, — говорил Толстой, — он сам себе противоречит, совсем того не замечая и считая себя всегда безусловно правым». «Постоянная, явная, противная очевидности лесть окружающих его людей, — пишет Толстой в повести, — довела его до того, что он не видел уже своих противоречий, не сообразовал уже свои поступки и дела с действительностью, с логикой или даже с простым здравым смыслом, а вполне был уверен, что все его распоряжения, как бы они ни были бессмысленны, несправедливы и нелогичны между собой, становились и осмысленны, и справедливы, и согласны между собой только потому, что он их делал». Вот Николай приговаривает студента-поляка к 12 тысячам шпицрутенов — т. е.